


БЕЗ ТРУДА НЕТ ДОБРА

(О «Ладе» Василия Белова)



ишу эти строки весной и вспоминаю весну в деревне. Снег еще лежит в оврагах, в затененных местах, а в поле уже выехали тракторы с сеялками. Поднимается вверх сухая пыль, висит в воздухе, не тая, солнце жарит не по-весеннему, тарахтит старая сеялка, тарахтит под тобой деревянная подножка, и горизонт во все стороны пуст, обнажен — леса еще не оделись, просвечивают.

Встаешь затемно. Пока подпояшешься, обуешь лапти, перехватишь кружку молока с хлебом, добежишь до подводы, которая должна везти на стан, уже засинеет на востоке. К восходу солнца и прибываешь на стан. И сразу за дело. По холодку, почти по морозцу, выезжаешь на сеялке — и так до обеда, а там и вновь дотемна.

К ночи намаешься, в деревню возвращаться неохота. Так и ночуешь на стане, в шалаше, зарывшись в теплую, пахнущую пшеницей солому. Сон мертвый, короткий: не успеешь глаза закрыть, провалиться в темень, — как уже будят: вставай, вставай! Вскакиваешь легко, быстро. И никакой усталости в мускулах, лени, голова чиста и светла, и тело готово к труду, к напряжению.

День сливается с днем, и только когда встанет у края поля, будто наткнувшись на что-то, отпахавший и отсеявший трактор и замрет дрожащая сеялка, все высыпавшая из своих желобов, поймешь — конец. Конец севу, конец кругообороту сна и труда, дня и ночи.

Василий Белов прав: есть во всем этом какой-то *ритм* и какая-то музыка. Не то что фанфары гремят, а кровь поет в жилах, и живешь полно, без пустот, даже часы сна — не пустота, а отдых.

Белов начинает свою книгу с весны, с того времени, когда крестьянин снаряжает коня в поле, готовит плуг,

борону, когда вся семья настроена на новый цикл жизни, на новый оборот круга. *Круглый* год недаром, пишет он, назван круглым, потому что конец смыкается с началом, зима переходит в весну, весна торопит лето. И в труде идет смена, идет перестройка и преемственность — в крестьянской жизни нет обрывов, перебоев в ритме, а если и есть перебои, то ее уже лихорадит, это уже не жизнь, а болезнь.

«Перебои в ритме семейной жизни,— пишет Белов,— болезнь или преждевременная смерть, пожар, супружеская измена, развод, кража, арест, гибель коня, рекрутство — не только разрушали семью, но и сказывались на жизни деревни.

Ритм проявлялся во всем... Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга... Ничто не могло существовать вне целого или появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу от красоты. Мастер назывался художником, художник мастером».

Книга Белова — о мастерстве и художестве труда, о труде, как о спасении и о труде как о том, что оправдывает наше пребывание на земле. Для Белова труд и потребность живота (как в старину называли жизнь) есть то, чем уже в высшем смысле жив человек. «Без труда нет добра» — эти слова можно было поставить эпиграфом к очеркам Белова.

По жанру это очерки, этнографические записки, но стоят они иного романа. Может быть, поэтому и отклонился Белов от «Канунов», прервал на время работу над ними, что нужно было высказаться о том, что болит, что накопилось на сердце.

Я думаю, книга эта явилась вовремя. Самое время во весь голос заговорить о честном отношении к своему делу. О мастерстве. О том, что только труд, а не какие-то особенные права и достижения в сфере прав могут нам помочь. Белов против одного права — права плохо работать. Делать *не свое* дело. Находиться *не на своем месте*.

В деревне были печники и плотники, катальщики и мельники, кузнецы и сапожники. Каждому был отпущен свой талант, и даже если один человек имел несколько талантов, то все-таки совершенствовался он в одном деле, потому что и одного дела для одного человека достаточно.

Труд — это не цифирь в плане и не скачки диаграмм на красной доске. Труд, утверждает Белов, это творчество и чудотворство.

Вспоминаю «Плотницкие рассказы» и роман «Кануны». Лучшие страницы этих книг — слава труду. Олеша Смолин в «Плотницких рассказах» — мастер, художник. И человек прекрасный. Оттого и прекрасный, что каждое бревношко, которое отесывает, отесывает с любовью, что если строит баню или избу, то будто дитя любимое растит. В глазах Олешы Смолина нет смущения за свою жизнь. Зато лентяй Козонков всю ее растратил на фразы, на приказы. Бегал по деревне с наганом и народ пугал. Жизнь его ушла в воздух, как уходит дым из печки. И хотя хорохорится Козонков, хотя и до сих пор пытается командовать Олешей Смолиным, на деревне он посмешище.

Впрочем, как и Игнаха Сопронов в «Канунах». Вся деревня в романе выезжает в лес валить сосну для мельницы, которую ставит Павел Пачин. Все волнуется, все воодушевлены. Даже лошади чувствуют это оживление, этот подъем духа. И топоры сами собой летают в воздухе, обрубая сучья, и стар и млад находят себе дело по рукам, и мир теснится в общей работе, один Игнаха не рад этому, копит он злобу на мир за то, что не так он живет, как ему бы, Игнахе, хотелось.

Белов в «Ладе» настаивает на уважении к традиции и на терпении в труде. Тот, кто все время торопится, спешит забежать вперед, не экономя сил, не рассчитывая силы, не работник. Загнать коня, загнать себя — худшее дело. Над такими в деревне смеются, как и над лентяями. «В народе всегда с усмешкой, а иногда и с сочувствием, переходящим в жалость, относились к лентяям, — читаем мы в книге. — Но над теми, кто не жалел в труде себя и своих близких, просто смеялись. Не дай бог надорваться в лесу или на пашне. Сам будешь маяться, семья тоже пойдет по миру. (Интересно, что надорванный человек всю жизнь потом маялся еще и совестью, дескать, недоглядел, оплошал)».

И еще: «Настоящие плотники сэкономили силу. Были неторопливы. Без однорядок-рукавиц не работали. Бревно катали, а не волочили. Времени на точку топоров не жалели».

Есть в этом великая мудрость. Великая мудрость *ритма*, который не допускает волевых ускорений и ломается оттого, что машину запускают на более быстрые обороты, чем те, на каких она может работать. Она, может быть, некоторое время и поработает на более высоких скоростях, а потом встанет — и встанет навсегда.

Крестьянин, пишет Белов, не торопился. Он следовал

в этой неторопливости природе, у которой на все свой черед. Даже крестьянский календарь, на что ссылается Белов, говорит об этой очередности, о законе ритма, по которому строится работа и жизнь. Вот пример не из Белова, а из книги А. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», которую цитирует Белов:

- «1 апреля — пустые щи
- 8 апреля — Родион-ледолом
- 11 апреля — Антип-водопол
- 12 апреля — Василий-выверни оглобли (оставляй сани, снаряжай телегу)
- 23 апреля — Егорий-скотопас
- 26 апреля — Степан-ранопашец
- 2 мая — соловьиный день
- 3 мая — зеленые щи
- 5 мая — Ирина-рассаdnица (рассаdка капусты) и т. д.»

В календаре почти нет «окон», дней, которые не были бы чем-то заполнены, не означали бы новый поворот круга. После Ирины-рассаdnицы следует Иов-горошник, затем Никола-вешний травной, Лукерья-комарница, Леонтий-огуречник. Соловьиное пение и высадка огуречных семян стоят в одном ряду. Крестьянин и радуется наступившему теплу и одновременно готовится к смене обязанностей, к тому, что после капусты надо сеять горох, а там уже можно выпускать телят на травку, а там, глядишь, и настает (29 мая) Федосья-колосьяница, то есть рожь начинает колоситься.

Книга Белова написана в традиции А. Афанасьева и во многом совпадает с ней (хотя у Белова речь идет лишь о северном крестьянстве, о его земляках-вологодцах), но она обращена на нас, на наш день и напоминает нам о том, что еще не стерлось в народной памяти. Не так давно это было, как бы говорит Белов, еще не поздно оглянуться, помянуть добрым словом дедов и отцов (а то и братьев) и *взять с них пример*.

Конечно, это книга примера, книга-урок для тех, кто начинает жить и задумывается о смысле жизни. Белов пишет о народной эстетике, он как будто и отвлекается от непосредственно хозяйственной стороны дела, но его подробные описания того, как катают валенки, плетут кружева, делают лодки, ставят печи в деревне, наталкивают на пример, на поучение. Учительский дух русской литературы бродит в крови книги Белова.

Конечно, он выбирает в крестьянской жизни то, что работает на *идею лада*, на сам лад. Он не касается того тяжкого в крестьянском быте, о чем писал когда-то Глеб Успенский во «Власти земли» или Бунин в «Деревне», Белов не обличитель, Белов — поэт. Хотя мы знаем, что и в повестях своих, в рассказах, в романе и пьесах, а уж тем более в «Бухтинах вологодских», может посмеяться он над своим собратом и пристыдить его. Правда в «Бухтинах» смех не злой, веселый, но нет-нет да и сверкнет из тучи молния и ударит прямо по цели.

Белов не очень-то добр и в «Ладе», когда речь заходит о вещах, которые ему не нравятся, которые, по его мнению, искажают традицию или ломают традицию. Тут есть и гнев, и сарказм. Гнев и сарказм, которые можно оспорить.

Но в целом книга светлая, ибо какая же может быть книга о ладе, если в ней нет лада, если состоит она из разрушающих чувств? Не разрушение (даже во имя нового строительства) идеал Белова, а созидание, воссоздание, воскрешение. Он, казалось бы, из небытия извлекает все эти обычаи и обряды, он как бы кропит их живую водою любви и сочувствия. Сердце болит оттого, что забыты заветы предков, что брошено в тернии или задвинуто с угол то, что должно красоваться в красном углу. И у Белова оно красуется. Он называет печь «невестой». Он пишет о русской печи в крестьянской избе, одушевляя ее, потому что сама печь одушевляет все в доме — от нее и тепло, и жилой дух, и спасенье для ребятишек, и лечение для стариков. Возле печи стоит, разъезжаясь на своих скользких копытцах только что родившийся теленок (его несут в дом, к теплу), тут же сушатся детские одежды, рукавицы. «Печь остывала только вместе с человеком», — говорит Белов, и это правда. С утра уже горит огонек, толкает хозяйка в печь чугуны, варит, жарит, шкварит, а на ночь закрывает железной задвижкой, но еще видны сгребенные в кучку мерцающе-красные угли, и от их жара не остывают белые стены печи, прижмешься к ним — как к матери родной прижался: утешает печь, греет печь.

Книга Белова родилась из тоски по лучшему, что было в крестьянстве, из любовного вздоха памяти, которая всегда коротка на недоброе и дольше хранит доброе. Лишь по прошествии лет, в отдалении от того, о чем вспоминается, возможен такой отбор, когда отбрасывается все, что тревожит память, наводит тень на память. Что разрушает лад.

Лад — это поэтическая идея книги, это идеал, а не взятая в беспощадном свете реальность. Не зря в той главе,

где Белов вдохновенно пишет о «торжественно-радостном благовесте среди ветреного весеннего шума», он оговаривается: «Не будем, пожалуй... вспоминать о страшном набатном гуле среди ночной тишины».

Этот гул «не ложится» в книгу, он противоположен ей, ибо гул этот — перебой в ритме, отклонение от лада, антилад.

Впрочем, у Белова есть свои соображения об антиобразе в народной поэзии. Вот они: «Существовала какая-то странная, на наш современный взгляд, эстетическая потребность время от времени выворачивать себя наизнанку. Может быть, с помощью антиобраза (святочная личина, противоестественный наряд, вывернутая наизнанку шуба) наши предки освобождались от потенции безобразного... Потребность представляться вызывается, наверное, периодической потребностью преобразиться, отрешиться от своего «я», как бы со стороны разглядеть самого себя, а может, даже отдохнуть от этого «я», превратившись на короткое время хотя бы в собственную противоположность... всего вероятнее, наряжаясь, например, чертом, человек как бы отмежевывался от всего дурного в себе, концентрируя в своем новом, «вывернутом» образе всю свою чертовщину, чтобы освободиться от нее, сбросив наряд. При этом происходило своеобразное языческое «очищение», похожее на то, которое происходит при христианском обряде причащения и исповедания».

Нечто похожее говорил о своих «отрицательных» образах Гоголь. Отдавая им свои мерзости, говорил он, я тем самым освобождаюсь от них.

Гоголя Белов часто поминает в своей книге. О Гоголе речь идет в главе «Святки», где Белов проводит параллель между обрядом святок на Украине и в северной деревне. Святки у Белова написаны в гоголевском ключе и на высоте гоголевского поэтического подъема.

Белова-мыслителя все время корректирует в «Ладе» Белов-поэт. Недаром труд в его книге необоримо восходит к образу, к тому эстетическому оформлению идеи труда, разгадать которую или хотя бы приблизиться к которой стремится автор. Он против научного объяснения образа, расчленения образа, посягновения на образ как на целое. Вообще целостность — это то, из чего исходит «Лад» и на что направлен «Лад». Тут тоже предлагается свой круг: от целостности к целостности, через поле разрушений, насилия над традицией, пытки традиции. Белов пишет о «круговой обороне русской крестьянской общины», которая до

поры до времени не пускала на свою территорию разрушающие силы, и лишь уступив им, уступила и науке образ. Лучше не покушаться на образ; говорит он, лучше отойти от него и не лишать себя наслаждения общения с образом без посредника. Образ не поддается «ощупываниям рационалистического ума», образ — тайна — и находится она за семью печатями и семью замками.

Вот почему Белов противопоставляет устное фольклорное слово слову, закрепленному в книге. Последнее как бы уже засушено бумагой, своим существованием в виде печатного слова и приобрело плоскостность бумажного листа, потеряв живое обаяние атмосферы, в которой оно произносится или поется, потеряв объем образа, воздух образа. Вот почему он ставит лицом к лицу традицию и благородство выработанных ею форм (всегда целесообразных и «полезных») и «эстетическую мглу, в которой с такой многозначительностью мерцают блуждающие огни».

«Женщины в старину, — пишет Белов, — за бревнами в лес не ездили и по сугробам с топорами не лазали, это делали за них мужчины... Принцип колокола в одежде не позволял мерзнуть в самые сильные морозы. Для такой одежды характерна — почти до пят — длина и постепенное сужение кверху. Так шили сарафаны, шубы на борах, в русской военной шинели использован тот же принцип. Под «колоколом» тепло держится на уровне щиколоток, граница холода приходилась как раз на голенища валяной обуви. Естественно, такой туалет вырабатывал в девушке, а затем и в женщине бережливое отношение к движениям, дисциплинировал поведение. Приходилось думать, прежде чем куда-то шагнуть или прыгнуть. Это обстоятельство сказывалось в выработке особой женской походки, проявлялось в сдержанной и полной достоинства женской пляске».

Может быть, Белов против современной моды? — спросит читатель. Отчасти, да. Но какая же современная женщина не хотела бы вернуть себе ту стать, которой славились русские красавицы? Неужели сутулая женщина лучше статной? Неужто сигарета в зубах женщины украшает женщину?

«Домостроевские» мечтания Белова вовсе не мечты. Это попытка новое время поставить на почву традиции. Дать этому времени устойчивость и ту же самую осанку.

Хотя, конечно, выбило народ на войне. Те, кто помнили старое и могли научить ему, ушли. Ушли не только на войну. «...В Тимонику, — пишет Белов о своей родной дерев-

не, — как и в тысячи других северных деревень, не возвратилось с войны ни одного мужчины...» И «после войны художественная организованность народного быта начала исчезать, вместе с исчезновением тысяч деревень и подворий, вместе с гибелью на фронтах Великой Отечественной наиболее жизнедеятельной части населения».

И все-таки сказки, бухтины, пословицы, песни, частушки, прозвища и по сей день живут в народе. Жизнь фольклорного слова не умолкает, и всюду поспевающая печать не поспевает за ним. Слово ускользает от печатного станка, не дается, сохраняет свою суверенность. В слове и свобода мышления народа, и его характер, и его юмор. «Фольклорное слово, — настаивает Белов, — несмотря на все попытки «обуздать» его и «лаской и таской», сделать управляемым, никогда не вмещалось в рамки книжной культуры. Оно не боялось книги, но и не доверяло ей».

Белов рассказывает о том, что значил в деревне человек, владеющий словом. Его уважали так же, как уважают самого рачительного работника. В деревне издавна существовал «культ слова». «Умение хорошо, то есть образно и тактично говорить, в какой-то степени было мерилom социально-общественного положения, причиной уважения и почтительности. Для мелких и злых людей такое умение являлось предметом зависти». «Красивая образная речь, — заключает эти рассуждения Белов, — не может быть глупой».

И далее он отмечает такие черты образной речи, как юмор и лаконизм. Юмор — всегда признак самостоятельности, признак свободы. Не смеется тот, кто боится, кому страшен смех. Веселый человек — человек открытый и человек сильный. Веселый человек — человек талантливый.

Человек, владеющий словом, — человек-поэт. Его образы рождаются тут же, по ходу дела, по ходу действия. Они являются как сгущенный опыт его жизни и жизни окружающих его людей, как опыт труда и опыт веселья. Впрочем, и тяжкий труд не тяжесть для крестьянина, а радость, веселье. Веселье это не обязательно, когда много смеются. Веселье — это когда силы играют, когда работа дается легко, когда все само собой получается. Такое веселье нарабатывается годами.

Другое дело, когда народное слово, живорожденное слово вталкивается в мертворожденный текст. Оно среди других мертворожденных слов блекнет, выглядит как пародия на самого себя. Прав Белов, когда негодует против поделок и «авторских текстов», где разрушается органиче-

ская жизнь сказки или образного слова, где на слово накладывается грим, когда лишь сарафан, а не душа народа, как говорил Гоголь, виден в слове.

Некоторые негодования Белова по адресу радио и телевидения, прибегающих к таким поделкам, усекованиям народных текстов, а то и к их переделке, я разделяю. Я не могу только разделить какой-то общей антипатии автора «Лада» к городу.

Что делать, город существует, его уже не снести. Так же, как среди крестьянских поколений выросли и городские поколения, и у них свои забавы и игрища, свой труд и свой досуг. Я думаю, что лентяй в деревне то же, что и лентяй в городе. Белов написал книгу о крестьянском труде и об его эстетике, а можно написать книгу о труде каменщика, строителя мостов, шофера,— если это настоящий каменщик, строитель и шофер,— и она будет столь же украшающа по отношению к своему современному «обленению» (как точно назвал эту черту в том же крестьянстве Иван Васильев), как и «Лад» Белова. И здесь существовал свой лад — хотя бы лад в застройке города, лад в расположении храмов на высотах, дворцов, в окаймлении рек камнем, в разбивке бульваров, парков. Есть своя высокая эстетика и у города, если только она не положена на штамп, если не разрушена тем же тотальным наступлением единоликости, о которой пишет Белов. Разрушать, правда, может не только единоликость, но и разноликость, когда разноликость эта опять-таки серийна.

Город как будто противостоит природе по самой своей сущности, он отдален от природы, он вчуже ей. Но раз создал его человек, раз поселился в нем, значит, и по силам человеку внести законы природы в город, вписать его в природу, отдать своему каменному жилищу то, что заложено самой природой в его душе.

Есть города, которые такие же создания природы, как и деревня, как любое поселение на земле.

Но это — особый разговор. Белову не нравится спорт. Конечно, лучше трудиться в чистом поле и дышать свежим воздухом. Но как быть человеку, которому судьба уготовила сидеть за столом? Толстой пахал, тот, кто живет вблизи деревни, тоже может пахать. Но что делать истому горожанину? Он делает зарядку. Он искусственно, конечно, тренирует мускулы, ибо его тренировка и закалка не дают никакой отдачи, кроме отдачи здоровья. Но и это немало. И в этом есть толк. И — поддержание ритма жизни, и, если хотите, ее лада.

Лад может существовать везде. Ибо носитель лада человек, а не место, где он живет.

Все дело в том, какой это человек и кто он.

Футбол, например, красивая игра. Так же, как шахматы. И если на шахматной доске движутся деревянные фигуры, то по зеленому полю бегают футболисты. И не просто бегают, а *играют*. Тут игра, забава и одновременно труд для тех, кто играет, и переживание (и тоже, стало быть, труд) для тех, кто смотрит игру. В игре есть неизвестность, есть загадка, есть волнующий «сердечный риск» (слова Белова), передающийся чувствам зрителя.

Так что зря Белов негодует на зрителя (который якобы паразитирует на игре). Зритель в это время тоже живет. Почему зритель народного игрища в деревне не осуждается, а зритель на стадионе осуждается? Нет резона. И тот и другой сопереживают игре, участвуют в игре.

А что же тогда театр? В театре тоже сидят зрители и *смотрят*. Хлопают, смеются, увлекаются ходом пьесы, даже входят в состояние возбуждения, которое особенно неприятно автору очерков. Но он сам пишет пьесы и ставит их на театре.

Тут все спорно. Но бесспорно то, что наживающихся на этих массовых видах игры весьма немало. Что кое-кто действительно паразитирует на них. Тут огромная нагрузка на мастера в виде тех, кто не умеет ни играть, ни «болеть».

Хуже всего, когда в дела мастера и дела мастерства вмешиваются. Вмешиваются, как правило, не мастера. Ихто и приходится честить, когда думаешь о том же спорте. Да и о любом деле. Еще Глеб Успенский в своих очерках «Крестьянин и крестьянский труд», поминая военные поселения, созданные для крестьян Аракчеевым, писал: «Граф Аракчеев, не ограничиваясь муштровкой, вломился со своими реформами в хлев, стал соваться с приказами насчет коровы, определяя час выгона и пригона, приказывая пахать так, а не иначе,— словом, стал дерзко распоряжаться в самых недрах земледельческого творчества, искусства, стал безжалостно разрушать поэзию земледельческого труда».

За эту поэзию и ратует Василий Белов. И тут я его союзник. Родился я в городе, и детство провел в городе, но судьба бросила меня в самую глубь России, в Сибирь. И там научился я запрягать коня, сажать картошку, косить, месить навоз для кизяков, рубить дрова. Детский дом наш стоял в большом сибирском селе. Село это спасло нас

от голода. А потом мы и сами спасались, потому что всё в нашем детском доме было свое — и кони, и поля, и огороды. Только хлеба мы не сеяли, его давало нам государство.

Это была первая встреча с деревней. Вторая, о которой я уже рассказывал, — произошла летом 1944 года. И навсегда я запомнил и те дни на сеялке, и пастушество (пас колхозных телят), и жизнь в избе, и тех, кто согрел меня. В деревне я узнал, в какой стране я живу и кто мой народ.

Мы все один народ, и поэтому мне близок писатель Белов и то, что пишет Белов. Есть во всем, что он делает, какая-то высота, какая-то чистота благородства. Потому что попусту не шумит, зря перо в руки не берет. Если уж берет, значит, наболело, значит, сердце просит и отказать ему нельзя.

«Привычное дело» потрясло меня (да и только ли меня!). Это была поэма, а не повесть. Крестьянский лад выглядывал в ней в словах, в круговороте жизни, на которую не мог роптать герой Белова, хотя жизнь не повернулась к нему теткой. Была боль, но не было ропота. Ибо, как писал там Белов, «лучше было родиться, чем не родиться». Слишком дорого стоил русскому народу этот стоицизм. Но не будь его, не выжил бы он. И Белов запечатлел это.

Не говорю о «Плотницких рассказах» с тем же мотивом прощения и милосердия и незлобivosti за трудно прожитую жизнь (Олеша Смолин — сама незлобivость), о таких рассказах, как «Братья», «Клавдия», «На Росстанном холме». Все это было возвышение той же темы. «Бухтины вологодские» внесли разрядку в это высокое напряжение, сняли напряжение боли и ушли в спокойный лад первой книги «Канунов».

И вот явился «Лад». Книга строгая, документальная, которую мог бы написать какой-нибудь этнограф, фольклорист. Нет, не смог бы. *Такую* книгу не написал бы. Потому что в ней играет, лечит, берет в плен слово Белова. «Слово... не может заставить светить солнце или падать дождь... — писал А. Афанасьев, — но если не внешнею природою, то оно овладело внутренним миром человека...»

Это относится и к слову Белова.

О чем бы ни писал он — он всюду поэт. Пишет ли он о свадьбе, или о проводах в армию, о тереблении льна, или о «серебре и золоте детства». У него старуха умолкает над колыбелью, засыпая от старости, а младенец подхватывает ритм ее песни. Жизнь как бы переливается из старых мехов в новые, не имеет конца. Даже о трагическом Белов пишет не как об ужасном, а как о чем-то «необходимом,

очищающем и возвышающем». Ибо предсмертное страдание в народе тоже называли «трудом».

Человек трудился, рождаясь, помогая матери в ее муках, и так же трудился он, умирая. «Достоин умереть в глубокой старости означало то же самое, что достойно прожить жизнь. Смерти боялись только слабые духом, умирали труднее болевшие в расцвете лет, люди, обделенные в чем-то судьбою...

Умереть не намаившись и не намаив близких людей представлялось нормальному человеку величайшим и самым последним благом».

Об уважении к памяти умерших тоже пишет Белов. О родительских субботах—днях поминовения воинов, павших на Куликовом поле. В эти дни приходили на родные могилы. Приходили и на девятый день после смерти, и на сороковой (такая сцена описана в конце «Привычного дела»). Сами кладбища были открыты для всех. Не было ограды возле каждой могилы, а общая ограда, как бы подчеркивающая, что и мертвые—одна семья. «Безобразное состояние многих сельских и городских кладбищ,—добавляет Белов,—к сожалению, оправдывается явно устаревшим законом, позволяющим через тридцать лет после последнего захоронения использовать территорию подо что угодно».

Но разве через тридцать лет исчезнут родственники умершего или его потомки? Разве некому будет прийти поклониться его праху и продлить в этом поклоне ту жизнь, которую жил на земле он? Белов против короткой памяти, против памяти, у которой есть свой «план» на тридцать лет.

Неспроста он отходит в историю в своей книге, чтоб оттуда—из глубины ее—вести отсчет дням. Чтоб протянуть длинную нить, которая выткалась руками наших предков.

Прекрасно сказано у Белова о земле: «Это она, земля, кормит и поит, одевает и нежит. Голубит в свое время цветами, обвеивает прохладой, осушая с тебя пот усталости. Она же возьмет тебя в себя и обнимет, успокоит навеки, когда придет твой крайний срок...»

Земля дает и земля берет. Так заплатим ей за жизнь всем, чем можем. Пока дышим. Пока бьется сердце. Пока доносится до него—направленное прямо в него—слово литературы.